

ЭМИЛЬ ЧЁРАН

КНИГА ИЛЛЮЗИЙ



ТОТЕНБУРГ

МОСКВА 2026

УДК 82-94
ББК 84-6
Ч45

*Все права на книгу находятся под охраной издателей.
Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена каким-либо
способом без согласования с издателями.*

*Перевод с румынского, предисловие, исследовательская часть
и комментарии к филос. н. Р. С. Гранина*

Чёран, Э.

Ч45 Книга иллюзий. — М.: Тотенбург, 2026. — 232 с.

Дорогой читатель, перед вами — первое полное издание русского перевода раннего шедевра культового румыно-французского философа Эмиля Чёрана (Emil Cioran; 1911–1995) — «Книга иллюзий», или «Книга самообманов» (рум. Cartea amăgirilor), — написанного в 1936 году, за два десятилетия до его перехода на французский язык. Этот текст — синтез философского трактата и дневника — экстатическая поэма в прозе, где мысль бьется в судорогах плоти, а метафизика превращается в крик. Двадцатипятилетний Чёран пишет с неистовством одержимого: музыкальный экстаз и ужас святости, разрывы сердца и крови, меланхолия ангелов и страх перед временем. Его главный вопрос — как жить, если любая истина убивает жизнь, а единственное утешение — в иллюзиях, которые мы сами же презираем? Чёран боится святости больше, чем смерти, но восхищается святыми; презирает философию, но мыслит с беспощадной ясностью; ненавидит время, но знает, что человек может жить только «четвертями вечности». Книга адресована тем, кто не ищет спокойных истин. Это текст-потрясение, текст-рана. Переведенный с румынского взрывного оригинала, он сохраняет телесность, литургический пафос и ту горькую, почти жестокую нежность, с которой Чёран пишет о последнем, что остается человеку: о слезах, о музыке и о невозможной любви к земле, которая нас предала.

**УДК 82-94
ББК 84-6**

© Р. С. Гранин,
перевод с румынского,
предисловие, исследовательская часть,
комментарии

© Издательство «Тотенбург», 2026

Содержание

Предисловие. «Книга иллюзий»: Чёран до Чёрана	4
I.....	9
Музыкальный экстаз	9
О счастье не быть святым.....	14
О величайшем сожалении	17
Для самых одиноких	34
II	46
III.....	65
Пророчество и драма времени	76
Умереть от порыва	79
IV.....	87
Моцарт или моя встреча со счастьем	91
Моцарт или меланхолия ангелов.....	94
Клятва жизни	105
Шепот одиночества	106
Молитва на ветру	107
Грех и преображение	107
Исповедь вещей.....	116
Искушение теней.....	116
Час проклятий.....	117
V	122
Как жизнь становится высшей ценностью	144
Правила для преодоления пессимизма, — но не страдания.....	148
Искусство избегания святости	149
Правила, чтобы не стать жертвой меланхолии....	149
VI.....	154
Отрешение от смерти.....	154
Отлучение от философии	163
VII.....	183
Вкус иллюзий [обольщений].....	189
В тени святых	214

Предисловие. «Книга иллюзий»: Чёран до Чёрана

«Пусть твое лицо будет подобно посмертной маске —
столь же существенным в каждое мгновение».
«Бог создал человека по своему образу и подобию;
человек отомстил и покрыл лик Бога своей маской».
«Не потому ли мы любим пророчество, что оно поглощает время?»
«Сколько жизни ты вложил в мысли, столько в тебе смерти».
«Мы не можем спастись от иллюзий, не разочаровавшись».
«Нет портрета без ненависти: у добрых людей нет лица»
«Боль можно победить только новой болью».
«Страх порождает свои причины».

Эмиль Чёран «Книга иллюзий», 1936

Читателю, знакомому с Эмилем Чёраном (*Emil Cioran*; 1911–1995) по его поздним, написанным по-французски «исповедям и анафемам», эта книга, скорее всего, покажется откровением иного рода. Перед нами не афористичный скептик, уставший от себя и от мира, не мастер лаконичного отчаяния, превративший парадокс в дыхание. Перед нами — Чёран молодой, двадцатичетырехлетний румынский философ, который пишет с неистовством одержимого, с риторическим накалом, превосходящим все, что он создаст впоследствии. *Cartea amăgirilor* (1936) — «Книга иллюзий», или «Книга самообманов» (во французском переводе «Книга приманок»¹) — это философская поэма в прозе, метафизический дневник, экстатический бред и систематическое разрушение системы одновременно. Это подземная река, из которой выйдут все поздние французские тексты, но которая сама по себе обладает мощью, сравнимой разве что с «По ту

¹ *Le Livre des leurres* — французское слово *leurre* [лоэ] — сущ.: приманка, прикорм, блесна, заманивание, манок; глагол: завлечь, завлечь, обманывать.

сторону добра и зла» или «Так говорил Заратустра» — и по тону, и по амбициям.

«Книга иллюзий» — это не совсем трактат в классическом смысле. У нее нет внятного плана, но есть музыкальная форма: темы возникают, накладываются друг на друга, возвращаются в новой тональности и затихают, чтобы взорваться афоризмом. Книга распадается на семь частей (глав), каждая из которых — вариация на несколько сквозных мотивов: музыкальный экстаз, страх святости, одиночество, ужас перед временем, разрывы (*sfâșieri*) сердца и плоти, меланхолия и, наконец, невозможность иллюзии, без которой человек не может жить.



Первое издание «Книги иллюзий»: Cioran E. *Cartea amăgirilor*. București: Editura Cugetarea, 1936. 255 p.

Уже первая глава задает тон: «Музыкальный экстаз» здесь не эстетическое переживание, а онтологическая катастрофа. Слушая Баха или Моцарта, Чёран теряет материю, растворяет индивидуальность в чистой вибрации. Но это растворение не блаженство, а смерть. Музыка становится прыжком в смерть — или в ничто. Именно здесь рождается центральная для всей книги оппозиция: жизнь как «не-вечность», то есть все время плюс та доля вечности, которая возникает из самого отрицания вечности. Человек, по Чёрану, может жить только четвертями вечности — и именно эти четверти он и называет иллюзиями (*amăgiri*).

Румынское слово *amăgire* почти непереводаемо. Это и иллюзия, и самообман, и обольщение, и сладкая ложь, без которой душа не выдерживает правды. Для Чёрана иллюзия — не недостаток познания, а экзистенциальная необходимость. Познание убивает жизнь; иллюзия ее поддерживает. В этом смысле книга представляет собой последовательную и бескомпромиссную попытку мыслить против самого духа, против философии как таковой. Философы, утверждает Чёран, нейтральны и безличны; они не страдают по-настоящему. Только поэты, святые и музыканты — те, кто разрывается (отсюда ключевой глагол *a se sfâșia* — «раздирать себя»), — имеют доступ к истине, но не к истине утверждений, а к истине состояния.

Особое место в книге занимает фигура святого. Чёран пишет о святости с ужасом и восхищением одновременно. Святой — тот, кто убил в себе время, кто живет за пределами жизни и смерти. Но именно поэтому Чёран боится святости больше, чем проказы: святость отнимает у человека трагедию, а трагедия для него — единственная форма подлинного существования. «Счастье не быть святым» — названа одна из глав, и это счастье горькое, почти позорное, но единственно доступное тем, кто еще не предал человеческое.

Ключевая для понимания книги тема — разрыв (*sfâşiere*) как национальная и метафизическая категория. Чёран пишет, что знает только два народа, которые по-настоящему «разодраны», — еврейский и русский (Иов и Достоевский). Только эти народы имеют страсть к страданию, только они «переиздали Адама», то есть заново пережили трагедию всего человечества в своей собственной истории. Это, разумеется, не политологическое утверждение, а экзистенциальный диагноз. Для Чёрана Россия — это гиперборейская стихия, чья избыточная жизненная сила и мессианская тоска обречены на империю и насилие, но именно эта обреченность делает русскую культуру единственной, способной говорить на языке последних вопросов. Парадокс, который Чёран, будучи румыном и православным по воспитанию, проживает как личную драму: он не хочет быть румыном и не может не мыслить в категориях русского надрыва.

В поздних французских текстах Чёран будет называть себя «нигилистом с улыбкой». В «Книге иллюзий» он еще не улыбается. Здесь он — мистик без Бога, пророк без откровения, аскет без монастыря. Он пишет: «Святость — это гениальность сердца». И это, пожалуй, самый точный ключ ко всей книге. Чёран мыслит не головой — он мыслит нервами, кровью, разрывами тканей. Его аргументы — это судороги. Его истины — это слезы, которые не успели пролиться. «Путь печали: от тканей к небу» — так заканчивается одна из центральных медитаций.

Книга поэтому не поддается академическому комментированию в обычном смысле. Ее нельзя «объяснить» — ее можно только пережить заново, читая вслух, задыхаясь, останавливаясь на каждой странице. Это не философия, это экзорцизм. Чёран изгоняет из себя иллюзию, что знание может спасти, и взамен обретает иллюзию, что страдание может быть оправдано — если оно становится песнью.

Русский перевод *Cartea amăgirilor* (как и другие румынские тексты Чёрана) долгое время оставался лакуной. Румынский язык Чёрана — архаичный (дореформенный), взрывной, риторически перегруженный — представляет для переводчика вызов, сопоставимый с переводом «Бесов» или «Записок из подполья» на иностранный язык. В настоящем издании предпринята попытка сохранить три уровня оригинала: висцеральную телесность (кровь, плоть, разрывы тканей), литургическую торжественность (синтаксис, близкий к псалмам и пророчествам) и парадоксальную афористичность, которая то и дело обрушивает пафос горькой усмешкой.

Сложнее всего было с ключевым словом *amăgire*. В разных контекстах оно переведено как «иллюзия», «обман», «самообман» или «обольщение». Читатель должен помнить, что за каждым из этих русских слов стоит одно и то же румынское понятие: сладкая, спасительная ложь, которую жизнь рассказывает сама себе, чтобы не рухнуть в бездну.

«Книга иллюзий» — это документ духовной катастрофы, которая не привела к смирению, а привела к пене. Это крик молодого гения, который понял слишком много и слишком рано — и который решил не молчать, а закричать так, чтобы его услышали даже те, кто никогда не слышал ничего, кроме тишины собственной смерти.

Мы не знаем, можно ли спастись иллюзиями. Чёран в этой книге не дает ответа. Но он дает нечто большее: он показывает, как умирают и воскресают в каждой строчке.

Р. С. Гранин

Музыкальный экстаз. Я чувствую, как теряю свою материю, как рушится физическое сопротивление и как тают во мне гармонии и восхождения внутренних мелодий. Смутное ощущение, невыразимое чувство сводит меня к неопределенной сумме вибраций, интимных резонансов и окутывающих звучаний.

Все, что я считал в себе обособленным, изолированным в материальном одиночестве, закрепленным в физической консистенции и определенным в жесткой структуре, кажется, растворилось в ритме пленительной чары и неуловимой текучести. Как бы я мог описать словами, как растут мелодии, как вибрирует все тело, интегрированное во всеобщность вибраций, развиваясь в манящих изгибах, с очарованием воздушной нереальности? Я утратил в моменты внутреннего музыкального преобразования влечение к тяжелой материальности, я утратил минеральную субстанцию, то окаменение, которое связывало меня с космической фатальностью, чтобы устремиться в пространство с миражами, не осознавая их иллюзорности, и с грезами, не страдая от их ирреальности. И никто не поймет неотразимых чар внутренних мелодий, никто не почувствует экзальтации и блаженства, если не будет наслаждаться этой нереальностью, если не будет любить свою грезу больше, чем очевидность. Музыкальное состояние — это не иллюзия, потому что никакая иллюзия не может дать уверенности такой огромной силы, и никакое органическое ощущение — абсолютного, несравнимого переживания, значимого самого по себе и выразительного в своей сущности. В эти мгновения, когда ты звучишь в пространстве и когда пространство звучит в тебе, в эти моменты звукового потока, целостного обладания миром, я не могу не спросить

себя: почему весь этот мир — не я? Никто не испытал с интенсивностью, с безумной и несравненной интенсивностью музыкальное чувство существования, если у него не было желания этой абсолютной исключительности, если он не был одержим неизлечимым метафизическим империализмом, когда хочется разбить любые границы, отделяющие мир от я. Музыкальное состояние сочетает в индивидууме абсолютный эгоизм с высочайшей щедростью. Ты хочешь быть только собой, но не из мелочного тщеславия, а из верховного стремления к единству, к разрушению барьеров индивидуации — не в смысле исчезновения индивидуума, а в смысле исчезновения ограничительных условий, навязанных существованием этого мира. Кто не испытывал ощущения исчезновения мира как ограничивающей, объективной и отдельной реальности, кто не испытывал ощущения поглощения этого мира своими музыкальными порывами, своей дрожью и вибрацией, тот никогда не поймет значения того переживания, в котором все сводится к звуковой всеобщности — непрерывной, восходящей, с эволюцией к высотам, в приятном хаосе. А что такое музыкальное состояние, как не приятный хаос, чьи головокружения суть блаженства, и чьи колебания — наслаждение?

Я хочу жить только ради этих мгновений, когда я чувствую все существование как мелодию, когда все раны моего существа, все внутренние кровотечения, все пролитые слезы и все предчувствия счастья, которые я испытывал под летними небесами, с вечностями лазури, собрались и сплелись в единстве звуков, в мелодичном порыве и в теплом и звучном вселенском единении.

Меня опьяняет и убивает радостью музыкальная тайна, что таится во мне, что мелькает отблесками в мелодичных волнах, что разрушает меня и сводит мою субстанцию к чистому ритму. Я утратил субстанциальность, ту нередацируемость, что придавала мне выпуклость и

очертания, что заставляла меня содрогаться перед миром, чувствуя себя покинутым и оставленным в мертвом одиночестве, и я достиг сладкой и ритмичной нематериальности, когда нет никакого смысла искать свое «я», потому что моя мелодицазия, превращение в мелодию, в чистый ритм, извлекло меня из обычных относительностей жизни.

Моя великая воля, моя постоянная, сокровенная, пожирающая и истощающая воля — никогда не возвращаться из музыкальных состояний, жить экзальтированным, очарованным и обезумевшим в упоении мелодий, в опьянении божественными звучаниями, быть самой музыкой сфер, взрывом вибраций, космической песнью, вознесением по спиралям резонансов. Песни печали перестают быть мучительными в этом опьянении, и слезы становятся жгучими, как в момент верховных мистических откровений. Как я могу забыть внутренние слезы этих блаженств? Я должен был бы умереть, чтобы никогда не возвращаться к иным состояниям. В мой внутренний океан капает столько же слез, сколько вибраций дематериализовали мое существо. Если бы я умер сейчас, я был бы самым счастливым человеком. Я слишком много страдал, чтобы не иметь некоторого невыносимого счастья. И мое счастье настолько потрясено, настолько наводнено пламенем, пронизано вихрями, безмятежностями, прозрачностью и отчаяниями, что, собранные вместе в мелодических порывах, они восхищают меня в блаженстве звериной интенсивности и демонической уникальности. Нельзя прочувствовать до корней музыкальное чувство существования, если не можешь выдержать эту невыразимую дрожь, странной глубины, нервную, напряженную и пароксизмальную. Дрожать до того предела, где все становится экстазом. И это состояние не музыкально, если оно не экстатично.

Музыкальный экстаз — это возвращение к идентичности, к изначальному, к первичным корням существ-

вования. В нем остается только чистый ритм существования, имманентный и органический ток жизни. Я слышу жизнь. Отсюда начинаются все откровения.

Только в музыке и любви существует радость умирания, вспышка сладострастия, когда чувствуешь, что умираешь, потому что больше не можешь выносить внутренние вибрации. И радуется мысль о внезапной смерти, которая избавила бы тебя от необходимости пережить эти моменты. Радость умирания, не имеющая ничего общего с навязчивой идеей и сознанием смерти, рождается в великих переживаниях уникальности, когда ты совершенно чувствуешь, что это состояние никогда больше не вернется. В музыке и в любви бывают только уникальные ощущения; всем существом ты осознаешь, что они не смогут повториться, и ты сожалешь всей душой о повседневной жизни, к которой вернешься после них. Какое это восхитительное сладострастие — то, что рождается при мысли, что ты мог бы умереть в такие мгновения, что тем самым ты не упустил это мгновение. Ибо возвращение к повседневной жизни после таких мгновений — это бесконечно бóльшая потеря, чем окончательное исчезновение. Сожаление о том, что не умер на вершинах музыкального и эротического состояний, учит нас тому, как много мы теряем, живя дальше. В тот момент, когда мы представили бы обратимость музыкального и эротического состояний, когда мы органически прониклись бы идеей возможности их повторного переживания, когда уникальность показалась бы нам простой иллюзией, мы уже не могли бы говорить о радости умирания, а вернулись бы к чувству имманентной смерти в жизни, которое делает из жизни лишь путь к смерти. Мы должны были бы культивировать уникальные состояния — состояния, которые мы уже не можем мыслить и чувствовать как обратимые, — чтобы обрести смерть в сладострастии.

Музыка и любовь не могут победить смерть, потому что в их сущности заложена тенденция приближения к смерти по мере роста интенсивности. Их можно рассматривать как оружие против смерти только в минорных фазах. Спокойная музыка и безмятежная любовь являются средствами борьбы против нее. Нет родства между любовью и смертью, как нет родства между музыкой и смертью; связь между ними устанавливается через прыжок; который может быть только впечатлением, но внутренне имеет не меньшее значение, чем прыжок. Эротический прыжок и музыкальный прыжок в смерть! Первый бросает тебя из-за невыносимой полноты, а второй — из-за тотальных вибраций, сокрушающих сопротивление индивидуации. Тот факт, что находились люди, которые кончали с собой из-за невозможности вынести безумства любви, реабилитирует человеческий род, как его реабилитируют безумства, которые испытывает человек в музыкальном переживании. Тот, кто не понимает и не чувствует музыку, — преступник, равно как и тот, кто не чувствует, что мог бы совершить преступления в такие моменты.

Все состояния не имеют ценности и не выражают никакой необычайной глубины, за исключением тех, которые приводят к сожалению о том, что они не умерли. Самое глубокое чувство жизни испытал бы тот, кто в каждый момент чувствовал бы, как умирает из-за своих состояний. Хотя для всех смерть начинается одновременно с жизнью, не все чувствуют, что умирают каждое мгновение.

Осуществлять непрерывно музыкальный прыжок и эротический прыжок в смерть! Или пусть этот прыжок происходит из твоего одиночества, которое было бы одиночеством существа, последним одиночеством. Как могут еще существовать другие одиночества, кроме этих одиночеств, и как могут еще существовать другие печали, кроме этих печалей? Чем были бы мои радости без моих печалей и чем были бы мои слезы без моих печалей и без

моих радостей? И чем была бы моя песнь без моих пропастей и моя миссия без моего отчаяния?

Будь проклято мгновение, когда жизнь начала обретать форму и индивидуализироваться; ибо тогда началось одиночество существа и боль от того, что ты только один, что ты покинут. Жизнь захотела утвердиться через индивидуацию; иногда ей это удавалось, и тогда она доходила до империализма, а иногда не удавалось, и тогда она доходила до одиночества, хотя для более глубокого видения империализм — это лишь форма, посредством которой существо бежит от одиночества. Ты собираешь, завоевываешь, приобретаешь и борешься, чтобы убежать от себя, чтобы отвлечься от своей печали о том, что реально существуешь только ты сам. Ибо одиночество — это испытание для реальности твоего существа, а не для реальности жизни вообще. Чувство одиночества растет тем больше, чем больше растет чувство ирреальности жизни. С тех пор как жизнь захотела быть больше, чем простая потенциальность, и актуализировалась в индивидуумах, с тех пор родился страх уникальности и боязнь быть одному, а желание индивидуального существа преодолеть этот проклятый процесс выражает лишь бегство от одиночества, от метафизического одиночества, в котором ты чувствуешь себя покинутым не только в некоторых элементах, но органически и сущностно, в своей природе. Поэтому одиночество перестает быть атрибутом существа только тогда, когда это существо перестает быть.

О счастье не быть святым. Длительная боль может сделать либо идиотом, либо святым. Однако ни для кого не является проблемой первый элемент альтернативы, потому что никто не может ни бояться, ни радоваться возможной идиотизации, параличу всех чувств от слишком сильной боли. Ты не боишься и не радуешься такому

состоянию, так как знаешь, что в нем, при исключении ясности сознания, сравнение с предыдущими состояниями невозможно, как невозможно и содрогание за свою судьбу. Но скольких содроганий преисполняется душа человека при мысли, что он мог бы стать святым, и какие глубокие страхи охватывают его при смутном предчувствии святости, в которую его ввергнет боль? Никто не хочет умереть в идиотизме, как никто не хочет жить в святости. Но когда становишься святым, невольно превращаешь судьбу в миссию, а фатальность — в цель.

Предчувствия и ступени святости ужасны, не сама святость. Они вызывают необъяснимые содрогания, которые тем сильнее, чем раньше в юности появляются. Тогда тебя мучит мысль, что жизнь остановится в тебе прежде, чем ты умрешь, что она остановится в тебе на вершинах высочайшей ясности, когда ты будешь видеть все настолько ясно, что сама тьма будет сиять до слепоты. В святости столько отречения, что юность человека, как бы она ни была скорбна, не может примириться с жизнью без приятных сюрпризов посредственности. Ты дойдешь до момента, когда уже не сможешь быть посредственным ни в каком смысле, в состоянии, когда у тебя больше нет никакой связи с жизнью, ты можешь испытывать лишь сожаления, и тебя мучит мысль, что в состоянии святости у тебя больше не будет ни сожаления о потерянной жизни, ни надежд, в которых можно было бы отчаиваться.

Страх стать святым...

Как не бояться святости, когда из тебя, казалось, будут исходить только огонь, кипение и взрывы, расти вихри экстаза в безмятежности, а вместо них ты будешь замечать внутренние застои, остановки жизненного потока, которые впечатляют своей торжественной безмолвностью? Ибо есть что-то торжественное в этих жизненных остановках и в этих органических затишьях;

это тревожные предчувствия святости, ужасающие состояния предсвятости.

Разве вы не чувствовали, как в вас в определенный момент останавливалась жизнь, и разве вас никогда не мучило молчание жизни?

Разве вы не чувствовали, как тают инстинкты и чувства отступают, словно в окончательном отливе? И разве вы не ощущали в этом отливе одиночество от того, что жизнь покинула вас?

Святость — это состояние, в котором человек продолжает жить после того, как жизнь ушла из него, как вода уходит из моря. И потому душа святого похожа на покинутое море, в которое вмещается все. Человеку дано перейти от радости слышать жизнь к печали чувствовать, как она останавливается. Затем он сталкивается с проблемой жизни в существовании рядом с жизнью или за ее пределами. Трагедия человека в том, что он не может жить внутри, а только по эту или ту сторону. Поэтому он может говорить только о триумфах и поражениях, о выигрышах и потерях, и поэтому же он не может жить в мире, а тщетно мечется между раем и адом, между взлетами и падениями.

Существуют состояния, которых даже Бог не может подозревать, потому что по-настоящему великие состояния могут родиться только в несовершенстве. Отчаяния делают меня выше любого божества. Приятно думать, что только от несовершенства можно еще чему-то научиться.

Я должен всеми силами держаться за свое несовершенство, за свое отчаяние и за свою смерть.

Что вы скажете о том человеке, который не желает обладать такой мудростью, чтобы преодолеть страдания? Но разве реальные страдания можно преодолеть? Может ли существовать внешняя ценность, с помощью которой их можно было бы оценить? Напрасно возражают,

что страдание не имеет онтологического корня и не может быть понято как принадлежащее структуре существования. Какую ценность может иметь это возражение перед лицом людей, чье существование определяет страдание? И после таких мук стать всего лишь святым! Неужели страдание не заслуживает большей награды — награды умереть? И все же будем радоваться, что в этом мире по крайней мере смерть не приближительна.

Страх стать святым или сожаление о том, что не умер.

О величайшем сожалении... о том, что чистая жизнь не осуществилась во мне, о том, что она оказалась заражена ценностями, сознанием, духом и идеями; о том, что она была терзаема сожалениями, отчаяниями, навязчивыми идеями и пытками; о том, что она чувствовала, как умирает с каждым своим шагом, с каждым ритмом и с каждым мгновением; о том, что ежеминутно ее терзал страх перед небытием, мысль о ничтожестве и ужас существования.

Сожаление о том, что я не являюсь чистой жизнью, то есть сожаление о том, что жизнь во мне не является песней, энтузиазмом и вибрацией, о том, что стремление не является чистым до иллюзии и теплым до комфорта, о том, что жизнь не является блаженством, экстазом, смертью света.

Я хотел бы, чтобы жизнь текла во мне с невыносимой полнотой, со своими анонимными эволюциями, предшествующими индивидуации, с исключительными желаниями самой жизни, чтобы была только она и с желанием жизни идти параллельно смерти. Чтобы такая жизнь пульсировала во мне; чтобы ее восхождение было излучением, взрывом лучей и безумием вибраций. Чтобы все интегрировалось в этот триумф бытия и чтобы все было лишь музыкой, звуковой оргией, манящей и восхитительной до невыносимости. Чтобы я был безот-

ветствен за жизнь, текущую во мне, и чтобы через меня говорила сама жизнь.

Нет более эффективного средства вынести боль, чем избиение и самоистязание. Боль подтачивает тебя, повергает и топит? Бей себя, хлещи, стегай до великой и ужасной боли. Так ты не победишь ее, но вынесешь и извлечешь из нее бесконечно больше, чем из посредственного приятия. Подставь свою плоть под удары, жги ее, чтобы из нее пошел огонь, напрягай нервы и сжимай кулаки, словно для того, чтобы все разрушить, словно для того, чтобы объять солнце и прогнать звезды. Пусть кровь пронизывает тебя теплыми, стремительными и жгучими токами, пусть тебя похищают красные видения и кружит голову нимб лучей, восходящих из дрожи плоти, нервов и крови. Пусть все горит в тебе, чтобы ты не стал мягким и тепловатым из-за боли. Еще не пришло время, когда битье, самоистязания и собственные муки отдали все, что они могут дать, ибо люди еще не знают метода, с помощью которого из страдания можно извлечь огонь.

Когда чувствуешь, как страдание овладевает тобой и проникает во все твое существо, словно желая парализовать тебя, как оно растет в тебе и останавливает жизнь на месте, используй все, что у тебя есть, чтобы сжечь все в себе, чтобы стимулировать свой организм, заставить его обезуметь в экзальтации и ослепить завораживающими видениями. С ногтями, впившимися в плоть, и с бичом в руке; с лицом, искаженным, словно готовым лопнуть, с нахмуренным взором, как в минуту ужаса, с блуждающим взглядом, красный и бледный, пытайся остановить процесс падения, избежать морального утопления и органического паралича. Возбуждай все органы, опьяняй их новой болью и побеждай притяжение тьмы, заключенное в страдании, еще большими страданиями. Бич может извлечь из смерти больше жизни, чем неведомо сколько

наслаждений. Бей по плоти, пока она не начнет вибрировать. Будь уверен, что после этого у тебя будет меньше сожалений и меньше отчаяния.

Не забывай напрягаться до последней степени. Ибо только так боль не уничтожит тебя прежде времени. Напряжение должно быть столь велико, чтобы у тебя свело челюсти, чтобы прилип язык, чтобы мозг сжался до такой степени, что ты не будешь знать, то ли ты молчишь, то ли кричишь. Боль можно победить только новой болью. Это означает, что сильную боль никогда нельзя преодолеть по-настоящему и эффективно, мы можем лишь интегрировать ее или укоренить в нашем существе.

Извлекай из себя ударами: молнии, дым и пыль, и пусть ненависть, отчаяние и печали восстают из тебя, как молнии, как дым и, как пыль.

Одни делают это ради царствия небесного и чтобы избежать ада; другие делают это только для того, чтобы этот ад не поглотил их; и наконец, третья категория — только для того, чтобы их собственный внутренний ад не поглотил их.

Такое самобичевание существенно отличается от аскетических самоистязаний. Аскет бичует себя, чтобы избавиться от соблазнов жизни; мы же — чтобы избавиться от соблазнов смерти. Одни делают это ради отречения; другие — против отречения. Мне не кажется ни героическим, ни драматическим бороться, чтобы победить жизнь в себе, убить инстинкты, чтобы воздвигнуть дух на этих руинах. Самоистязание как борьба против жизни — это нечто преступное; отсюда бесчеловечный характер всякой аскезы. Но истязать себя, бичевать и истекать кровью, чтобы победить болезнь и овладеть болью, означает раздирать себя, чтобы жить. И все органические терзания не имеют ценности, если только с их помощью тебе не удалось отсрочить смерть. Тем, кто страдает, не остается ничего иного, как обратить атаку на са-

мих себя. Вы все, кто страдает, не ждите больше утешений, потому что они либо не приходят, либо не могут помочь вам; не ждите исцелений, иллюзий и надежд, потому что нет ни исцелений, ни иллюзий, ни надежд; не ждите даже смерти, потому что она всегда приходит слишком поздно к страдающим, но истязайте себя, мучайте себя, бичуйте свое тело в кровь, чтобы гниль в вас стала пламенем, а плоть вибрировала, как нервы, и чтобы все, словно в галлюцинации, превратилось в тотальный пожар существа, чтобы вы горели, братья, пока боли не угаснут в вас, подобно искрам!

Нельзя ослабить и нельзя победить страдание интеллектуальной концентрацией. Как ты сможешь сосредоточиться на безличной проблеме, когда страдание ежеминутно призывает тебя к твоей личной актуальности, к твоему конкретному и индивидуальному существованию? Нет спасения через мысль. И нет его также потому, что тебе кажется бесполезным думать о чем-либо, кроме своего страдания, которое мысль только углубляет, добиваясь до сути страдания. Те, кто утверждает, что освободился от мук с помощью объективных занятий, не знали истинной боли, а лишь мимолетные духовные тревоги, не имевшие ни глубины, ни органической основы. Все неуверенности, связанные с возрастом, которые дают индивиду ощущение временного беспокойства, не имеют никакой ценности. Совсем иное дело — чувство непоправимого в сущности и во всей сфере твоей жизни. Мысль проясняет другие мысли, но не проясняет страданий. Ибо для них нет объяснений; или, если они и есть, они ничего не доказывают и несколько не делают их более сносными. Философия — это выражение беспокойства безличных людей. Поэтому она так мало дает для понимания тотальных, драматических и предельных переживаний. Для тех, кто, помимо своей воли, превзошел жизнь, философии слишком мало. Ни одна мысль не подавила боль, и

ни одна идея не прогнала страх смерти. Поэтому оставь мысли и начинай террор против самого себя с яростью и отчаянной экзальтацией. Ибо идеи никого не спасли и не погубили. Из центра твоего существа, из зоны, за которую ты не несешь ответственности, ибо она слишком глубока, разразись яростным взрывом, извлеки столько энергии из своей тьмы, чтобы не осталось ничего, кроме света. И в этом демонизме пусть родится в тебе гордость от того, что у тебя больше нет идей, а только кипение, навязчивости и безумие. Будь столь неистов, чтобы слова твои жгли, а выражения были столь ясны, чтобы походить на жгучую прозрачность слез. Обрушь свой ужас на свою тревогу и заставь все дрожать таким образом, чтобы все затрепетало во внутреннем, потрясающем и драматическом апокалипсисе. Доведение всего тела до столь высоких уровней вибраций, интенсивности и ускоренного ритма поглощает боль в своих напряжениях, плавит и интегрирует ее в свои эволюции, так что великое безумие временно избавляет нас от великой боли.

Мир до сих пор не убедился, что существуют только грубые методы борьбы с болью, что в этой области необходим радикализм, доведенный до скотства. Но разве страдание — не скотский факт? Страдания недопустимы, и тем не менее они связаны с жизнью больше, чем радость. Тот, кто сожалеет о жизненной чистоте, не может не ужасаться этим пятнам, каковыми являются страдания и которые распространяются по сфере жизни, омрачая ее.

Неужели после меня еще есть смысл кому-то страдать? Могут ли еще существовать тревоги после моих тревог и боли после моих болей? Есть люди, рожденные для того, чтобы выносить боли тех, кто не страдает. Демонизм жизни вливает в них все яды, которых другие не знают, все страдания, которых другие не испытали, и все отчаяния, о которых другие не подозревали. Если бы эти

люди могли чудом распределить свои яды, боли и отчаяния, этого было бы достаточно, чтобы сделать невыносимым существование других людей. Ибо люди знают лишь приблизительные боли, внешние боли, которые ничтожны по сравнению с болями, связанными с индивидуацией, со структурой существования, поскольку оно индивидуально. Только те боли плодотворны и длительны, которые протекают из центра твоего существования, которые излучаются в существование и имманентно растут в сущности этого существования. Есть боли, которые должны были бы остановить историю на месте, как есть люди, после которых история уже не имеет абсолютно никакого смысла. И я спрашиваю себя: не делает ли мое существование ненужным дальнейшее существование этого мира?

Нас не должна беспокоить временность земных вещей или несуществование вещей небесных. Что все подвержено гибели, что все суетно и преходяще, что все не имеет абсолютно никакой ценности и никакой состоятельности — об этом можно только сожалеть... Но нельзя только сожалеть, когда думаешь о том, как в столь кратком во времени и столь ограниченном в пространстве существовании может вместиться столько боли, может разыгаться столько трагедии и родиться столько отчаяния. Если индивидуальное существование призрачно до иллюзорности, то почему тогда столько печалей, столько капитуляций и столько слез? Перед лицом этого недоумения, возросшего до отчаяния, ты вынужден принять иррациональность жизни, не будучи в состоянии мыслить дальше. И нет смысла мыслить дальше, потому что не существует никакого объяснения. Все настолько необъяснимо, что меня беспокоит бесполезность идей. Ничтожество этого мира, в котором боль утверждается как реальность, превращает негативность в закон. Чем более иллюзорным кажется существование мира, тем более реальным становится страдание как компенсация. Нет спасения от стра-

дания, пока ты жив; но смерть — не решение, поскольку она, решая все, тем не менее ничего не решает. Миру нельзя найти ни объяснения, ни оправдания. Пусть его временность, ничтожность и тщета беспокоят нас меньше всего, как и то, что жизнь дана нам, чтобы умереть. Но пусть нас беспокоит то, что в такой жизни мы должны ежеминутно знать, что умрем. Если бы не было сознания смерти, жизнь, если бы и не была наслаждением, уж точно не была бы бременем. А любая жизнь, зараженная страхом смерти, — это бремя. Тогда осознаешь и ужасаешься, что в столь кратком во времени и столь ограниченном в пространстве существовании могут вместиться столь глубокие и столь опасные страхи. Почему человеку дана жизнь, чтобы бояться смерти, и почему жизнь в человеке так нечиста? Почему мы живем, чтобы знать, что умрем?

Я вижу в человеке дрожь индивидуации: неуверенность и страх жизни, оставшейся одинокой через индивидуализацию, неуверенность и страх жизни, которая столько раз обособлялась, реализуясь в индивидах.

Как велика радость победить на миг печаль, почувствовать себя пустым до нематериальности, но не головокружительной и галлюцинирующей пустотой, а пустотой, что возвышает меня, окрыляет и делает меня столь легким, сколь тяжелым меня сделали печали.

Необходимо установить методы новой аскезы, которая уносила бы нас не к Богу, а к собственным высотам, от которых нас отдалили глубины наших печалей. Абсурдно отказываться от еды; но столь же абсурдно исключать временный опыт голода с его наслаждениями и нематериальностью. Как в музыкальном экстазе, тебя охватывает эмоция высот, радость от того, что существуешь лишь как твой порыв и экзальтация. Но если в музыкальном экстазе внутренняя полнота растет, как внутренний поток, то в голоде пустота расширяет тебя из-за отсутст-

вия субстанции и сопротивления, окрыляет тебя не со-держаниями, а спазмами, нервными напряжениями, в абсурдном и неопределимом порыве. Если печаль тянет тебя к земле, к элементарному, материальному, темному и глубокому, то нематериальность голода бросает тебя в полный произвол, в фантазию и завораживающую игру планов, с восхитительной безответственностью. Какое удовольствие быть так высоко, что уже ни о чем не можешь думать; какое редкое наслаждение — забыть все в опьянении вершин; и какое очарование — когда боли покидают тебя в этих восхождениях. Здесь начинаются радости печальных людей: когда их больше нет, когда они забыли свои печали. Кажется, вся дрожь индивидуации перешла от тревог и мучений к экстатической дрожи, полной трепета и наслаждений, к другому безумию индивидуации, чьи радости лишь углубляют скорбь.

Напряженный голод, сопровождаемый экзальтацией и видениями, — вот от чего не может отказаться печальный человек как от временного наслаждения; голод, с помощью которого можно победить материальное притяжение; голод, который доставит наслаждение полетом, воздушное блаженство, легкость одиночества и удовольствие парения. Нужно испробовать все пути, чтобы не пасть побежденным болью, печалью и болезнью. И наша борьба против них да будет нашим героизмом.

Будем радоваться, что в смятении мы можем быть тотально всецелыми, что можем актуализировать в один момент все духовные планы и все расхождения. Состояния восхитительного внутреннего замешательства, которые вовсе не подразумевают путаницы в идеях, ближе к нашему субъективному центру, чем вся дифференциация планов, в которой мы обычно живем. Почему я должен быть то печальным, то радостным, то грустным, то ликующим, попеременно отчаявшимся или экзальтиро-

ванным? Почему я должен жить во фрагментах времени, фрагментах переживаний, когда безумным усилием я мог бы в каждое мгновение быть всем, быть актуальным через все мои реальности и возможности? Это замешательство упоительно, смешивая печаль с радостью, оно тем более упоительно, что это смятение слез. Корчиться от болей и удовольствий, растущих в одно и то же мгновение, и цепенеть от непонимания этих вещей, смакуя их в извращенном порыве и тотальной дрожи. И это смятение отличается от того всеобъемлющего опыта, в котором глубина приводит к сущности явления, например, к проникновению в сущность всеобщего страдания, и отличается тем, что растворяется в необъяснимом слиянии многообразия и нашей многополярной структуры. Это одна из радостей жизни — это восхитительное замешательство, но это прежде всего радость печальных людей. Как не почувствовать себя тотальным в этом экстазе радости и печали? Хочется растерзать себя на куски, швырнуть вибрирующие органы, устремиться в общее смятение и гордиться тем, что в тебе всеобщее замешательство достигло пароксизма, что ничто больше не останавливает тебя в хаотическом порыве вибраций и тотального кипения.

Несчастье человека в том, что он не может определиться в отношении к чему-либо, что в существовании у него нет устойчивой точки и детерминирующего центра. Его колебание между жизнью и духом приводят его к потери того и другого, и он превращается, таким образом, в ничто, желающее существования. Это косвенное животное желает духа и сожалеет о жизни. Человек не может обрести никакого равновесия в мире, потому что равновесие не достигается отрицанием жизни, уже живя. Это ничто, стремящееся к существованию, является результатом отрицания жизни. Поэтому человек имеет привилегию умереть в любой момент, отказаться от иллюзии

жизни в себе. Разве склонность к упадку не раскрывает сущность человека? Большая часть людей деградирует; лишь немногие возвышаются. Нет ничего печальнее, чем видеть, как деградируют люди. Ибо печалит не только то, что в их судьбе ты можешь увидеть свое будущее, но особенно печалит постоянное гниение в сущности человека.

Весь процесс его деградации есть не что иное, как последовательное отделение от существования; но не отделение через трансценденцию, через возвышенное или через отречение, а через фатальность, подобную той, что бросает на землю гнилой плод с дерева. Всякий упадок и декаданс есть недостаточность в существовании и потеря существования, так что одиночество человека есть одновременно одиночество ничто и одиночество жизни.

Когда много думаешь о человеке, об его особом положении в мире, тебя охватывает беспредельная горечь. Осознавать каждое мгновение, что все, что ты делаешь, есть плод твоего особого положения; что все абсурдные, возвышенные, смешные или гротескные жесты, все мысли, печали, радости и падения, все порывы и все поражения являются результатом только твоей особой формы существования, что если бы ты был чем угодно, только не человеком, ты бы их не совершал; иметь каждое мгновение в сознании эту особенность положения; эту одержимость абсурдностью человеческой формы существования — означает отвращение к человеческому феномену в такой степени, что желаешь стать кем угодно, только не человеком. Навязчивая [обсессивная] мысль о человеческом абсурде каждую минуту делает существование невыносимым вдвойне: как жизнь, понимаемая биологически, и жизнь как отклонение [девиация] в человеческую форму существования. Эта форма — парадокс в мире. И люди дорого заплатили за парадокс своей формы существования, заплатили слишком многими страданиями, недопустимыми страданиями в мире, самом по себе недопустимом.

Так трудно преодолеть безнадежность в страдании, что нельзя с презрением смотреть на иллюзию христиан, смягчавших свои страдания постоянным сравнением со страданиями Иисуса. Но что ты можешь сделать, когда не нашел никакого средства не быть одиноким в боли? И потом, когда у тебя память о стольких прошлых страданиях и предчувствие стольких будущих болей, муки какого человека могли бы подсластить горечь твоих собственных мук? Иисус страдал не за всех людей; ибо если бы он страдал так сильно, как говорят, после него не должно было бы быть больше боли. Однако кажется, что все люди, пришедшие после Иисуса, не будучи спасены его страданием, лишь добавили своими муками свой вклад в бесконечность человеческого страдания, которую Христос не смог исчерпать. В самом деле, мало пострадал Иисус, раз мы так много страдаем. Если бы он страдал в самой природе вещей, после него не могло бы существовать страданий. Но Иисус страдал лишь как человек, и потому его страдание смогло искупить так мало, хотя и утешило многих, не сумев, однако, утешить самых одиноких. Эти последние находили утешение лишь в собственной муке и обретали покой лишь в еще больших страданиях. Иисус пришел не для самых одиноких, а только для одиноких. До сих пор не явился Бог самых одиноких, абсолютно одиноких, потому что до сих пор никто не нашел утешений, которые могли бы сделать менее несчастными этих существ. Ах! Этот мир, до сих пор нашедший себе лишь одного спасителя!

Только страдание меняет человека. Все прочие опыты и феномены не способны существенно изменить чей-либо темперамент или углубить определенные предрасположенности до полного преобразования. Скольких уравновешенных женщин страдание превратило в святых? Абсолютно все святые страдали сверх всякого вооб-

ражения. Их преображение не было делом божественного вмешательства, ни чтения, ни даже одиночества, взятого самого по себе. Ежеминутное страдание, чудовищное и длительное страдание открыло им миры, которых никто не мог заподозрить, усилило и углубило их душевную жизнь так, как не способна усилить и углубить душевную жизнь нормального человека целая жизнь медитации. Человек, имеющий благословенную и неисчерпаемую привилегию страдать абсолютно непрерывно, может обойтись до конца своей жизни без книг, без людей, без идей и без какой-либо информации, ибо сам факт страдания достаточен для расположения к непрерывной медитации, он содержит в себе достаточно резервов, чтобы сделать ненужным любой вклад извне.

Люди не поняли, что против посредственности можно бороться только страданием. Культурой или духом многого не изменишь; но болью преображаешь невообразимо много. Единственное оружие против посредственности — страдание. Через него меняешь темпераменты, концепции, установки и видения, меняешь направления существования, потому что всякое сильное и длительное страдание затрагивает интимную глубину существа. Изменяя интимную глубину существа, оно имплицитно изменяет и его отношение с миром. Это перемена перспективы, понимания и чувствования. После того как ты много выстрадал, тебе становится невозможно осознать период жизни, в который ты не страдал; ибо всякое страдание отчуждает тебя от твоих естественных предрасположений, приводит тебя в план существования, чуждый твоим естественным устремлениям. Так из человека, рожденного для жизни, страдание делает святого и вместо всех его иллюзий развертывает язвы и гангрену отречений. Вся тревога, следующая за страданием, удерживает человека в напряжении, в котором он уже не может быть посредственным.

Целый народ можно было бы изменить через страдание и тревогу, через непрерывную, мучительную и устойчивую дрожь. Инертность, вульгарный скептицизм и поверхностный имморализм могут быть уничтожены страхом, тотальной тревогой, плодотворным террором и всеобщим страданием. Из инертного и скептического народа я бы извлек огонь с помощью страха, мучительного беспокойства и жгучей пытки. Верно, что страдание, приходящее извне, не столь плодотворно, как страдание, имманентно растущее в существе. Но из народа не нужно делать множество творцов. Все объективные методы, весь комплекс ценностей культуры ничего не меняют в сущности. Объективное и безличное познание лишь одевает манекен, но не существо. Я никогда не управлял бы государством с помощью программ, манифестов и законов, я бы не давал ни одному гражданину спать спокойно, пока его тревога не ассимилировала бы его той форме социальной жизни, в которой он должен жить.

Борьба с собственными печалью так сложна, потому что внутри нас существует некая глубинная печаль, независимая от внешних факторов, ее вызывающих. Ее можно победить; но невозможно победить скрытый и интимный фон, первоисточник бесконечной печали. В этом фоне печали я не могу видеть ничего иного, кроме печали бытия, которая и есть истинная метафизическая печаль. В интимности нашего существа существует тревога собственной дистанции от мира; гораздо глубже, однако, печаль бытия, ибо она проистекает из нашего существования как такового, из внутренней природы существа, тогда как тревога дистанции от мира — лишь из отношения, из связи.

Бороться против этой метафизической печали — значит бороться против самого себя. И действительно, есть люди, которые не могут жить дальше, иначе как постоянно отрицая себя.

Весь накопленный опыт, весь тот опыт, который нас больше всего захватывает, превосходит нас. И он превосходит нас через чувство безответственности, которое мы испытываем всякий раз, когда переживаем подобные события. Почему мы можем познать людей только в великих событиях жизни? Потому что здесь решение и рациональный расчет не имеют никакой ценности; все, что проистекает из внешних ценностей и критериев, исчезает, чтобы уступить место более глубоким детерминантам. Любопытно, как люди преувеличивают ценность решения, установки в великих событиях, тогда как в них мы более безответственны, ближе к своему иррациональному фону. Разве в тотальных переживаниях у нас нет чувства неодолимого вторжения, скрытого процесса, разворачивающегося в нас и доминирующего над нами? Откуда же иллюзия самоопределения? Последующая интерпретация людей делает их нечувствительными к иррациональности процесса, от которого в их понимании остается лишь схема. И хотя в опыте процесса безответственность очевидна, гордость разумного животного не хочет признавать роли внутренней судьбы в великих перепутьях существования. Эта гордость исчезает у тех, чье существование есть сумма перепутий и у кого тотальные переживания столь часты, что они чувствуют себя превзойденными в каждый момент. Когда живешь предельно интенсивно, содержания существа переполняют границы индивидуального существования; тогда возникает впечатление, что в тебе пульсируют неизвестные, глубокие и далекие силы, что вершится судьба, за которую ты не несешь ответственности. Тогда нулевая ценность рационального решения выступает с мучительной очевидностью. Как индивиды, мы фатально осознаем свои ограничения, пределы индивидуации; по этой причине нас беспокоит и удивляет, когда внутреннее напряжение взрывается столь живыми, столь глубокими и переполняющими содержаниями, давая

нам впечатление внутренней бесконечности на фоне сознания фатальной ограниченности всякой индивидуации.

Из всех людей впечатляют только те, чье существование есть череда перепутий, только люди, у которых есть судьба, чья жизнь расширяется настолько, что они не могут ее контролировать никаким образом. Главное — иметь судьбу, быть «случаем» [казусом]. Твое присутствие должно быть укором, страхом, тревогой, экстазом или радостью. Никто не должен знать, сколько ты проживешь, что будешь делать, как будешь думать; лишь страх и радость за твои падения и взлеты должны сделать твоё существование непрерывным сюрпризом, странной тревогой. Будь для другого поводом для тревоги, предчувствий, медитации, ненависти и энтузиазма; пусть никто не будет уверен в пути, по которому ты идешь, как никто не уверен в пути, который ты выберешь. Твое существование должно быть неразрешимой проблемой, которую даже смерть никогда не сможет решить, а твое физическое отсутствие должно усиливать муку непонимания. Все люди, у которых нет судьбы и которые не могут стать «случаем», ступают в существовании уверенно, они уверены, что должны куда-то прийти; ибо финал заключен в предпосылках их существа. Тот же человек, который является «случаем», для самого себя — абсолютная тревога и повод для тревоги для других; в нем дрожь индивидуации — это галлюцинация, экстаз, греза или взрыв, бесконечное творение, ничто, становящееся бытием. И тогда перед ним ставится последний вопрос: был ли мир сотворен или еще нет.

Нужно каким-то образом аннулировать память и все чувства, которые пытаются кристаллизироваться в нас. Все длительные привязанности, все сожаления и все стремления, расширяющиеся на большую сферу времени, мешают нам жить, запутывают и отягощают наше суще-

ствование. Зачем нам помнить о чем-то и зачем нам желать чего-то, зачем мы пытаемся заполнить прошлое бесконечной серией содержаний и предвосхищать будущее столь же бесконечной серией содержаний? Зачем нам иметь чувства, которые развиваются во времени и привязывают нас через него к объектам? Зачем нам привязываться к миру во времени? Не могли бы мы преодолеть эти препятствия на пути жизни через чистое переживание, которое изымало бы акты жизни из интеграции и общего значения? Переживание под обширным измерением времени превращает любой акт жизни в элемент последовательности, звено в цепи, фрагментарный и символический аспект; в нем все акты жизни становятся материалом для памяти, создавая тем самым ненужную перманентность «я». Ибо бесполезно чувствовать и осознавать перманентность и непрерывность «я», с эволюцией чувств, прогрессом стремлений и глубиной сожалений. Главное — уметь быть тотальным, не имея памяти. И это возможно лишь через полную реализацию каждого акта жизни без сознания дистанции, без перспективы его относительности в ряду других актов. Абсолютное пребывание в мгновении как высшая актуальность индивидуальной жизни может привести нас к аннулированию памяти и к устранению отчаяния от жизни во времени. Не проживать моменты жизни как проблемы, а как абсолютные реализации; жить каждое мгновение так, как будто мы переживаем нечто окончательное, без начала и без конца. Никогда не верить, что мы что-то начинаем и что-то заканчиваем, но пусть наша жизнь будет подобна опынению каждого мига, в котором, будучи тотальными и присутствующими, нам нечего забывать и нечего желать. Только абсолютное осознание настоящего момента может спасти нас от мучений, связанных с тем, что мы живем в своем собственном времени, окруженные трупами прошлого и с одними лишь трупами будущего. Будучи то-

тальным в каждое мгновение, тебе нечего отбрасывать, ибо ничто не давит на тебя извне, с расстояния, но ты остаешься как существование, как тотальность существования, для которого ни жизнь, ни смерть уже не могут иметь значения. Тогда ты удивляешься, когда тебе говорят, что ты живешь, как удивляешься, когда тебе говорят, что ты умираешь.

Почему люди, которые страдают, не скучают? На лестнице негативных состояний, которая начинается со скуки и заканчивается отчаянием, проходя через меланхолию и печаль, человек, который страдает, испытывает скуку так редко, что для него первой ступенью является меланхолия. Скуку знают только люди, у которых нет более глубокого внутреннего содержания и которые могут поддерживать себя живыми лишь внешними стимулами. Все ничтожества ищут разнообразия внешнего мира, потому что поверхностность есть не что иное, как реализация через объекты. Поверхностный человек имеет только одну проблему: спасение через объект. Поэтому он ищет во внешнем мире все, что тот может ему предложить, чтобы наполнить самого себя внешними ценностями и вещами. Меланхолия предполагает внутреннее расширение, смутность далей и ностальгию по бесконечности, которые проистекают из высоты и душевной утонченности, никогда не встречающихся в скуке. Если поверхностный человек когда-либо и ставит перед собой проблемы метафизического порядка, то психологический субстрат, из которого проистекает это приблизительное беспокойство, никогда не поднимается выше скуки. И вся метафизика, к которой приводит скука, есть не что иное, как метафизика обстоятельств. В скуке никогда серьезно не ставится вопрос о человеке или, по крайней мере, о субъекте, а лишь вопрос о непосредственной ориентации и отношении ко внешнему миру. Это даже не вопрос